

Д. С. ЛИХАЧЕВ

Изображение людей в житийной литературе конца XIV—XV века¹

Человек стоит в центре искусства литературы на всем протяжении ее развития. Но изображение его в отдельные эпохи было различным. Различным был сам метод изображения, различно было само видение его внешней и внутренней жизни. История изображения человека — это история открытий, больших и малых, касающихся разнообразных сторон человеческой жизни и человеческой психологии.

Самые обычные в литературе нового времени психологические наблюдения и способы изображения людей явились результатом многовекового литературного развития и вовсе не были изначально присущи литературе, вовсе не всегда были известны и не всегда могли найти формы для своего отражения в литературном творчестве.

Так, например, длительное время — вплоть до начала XVII в. — в человеке не предполагали возможным совмещения отрицательных и положительных свойств. Не сразу была открыта и внутренняя жизнь человека. Первоначально, в XI—XIII веках, в центре внимания русской литературы стояли поступки человека, — именно они описывались и оценивались писателями. Эти поступки рассматривались главным образом с точки зрения того официального положения, которое занимал человек на лестнице феодальных отношений. Характер человека был «открыт» лишь в начале XVII века в силу резкого обострения классовой и внутриклассовой борьбы и накопившегося социального опыта на определенной стадии развития феодализма. Однако раньше, чем был открыт характер человека, была открыта его психологическая жизнь. Психологические побуждения и переживания, все разнообразие человеческих чувств, дурных и хороших, сильных, экспрессивно выраженных, повышенных в своих проявлениях, стали заполнять собою литературные произведения примерно с конца XIV века и с особой отчетливостью проявились в произведениях Епифания Премудрого.

Для каждой эпохи и для каждого стиля существуют в литературе жанры, в которых эпоха и ее стиль отражаются наиболее ярко. Для конца XIV—начала XV века таким самым «типическим» жанром явились жития святых. В этом жанре отчетливее всего проявились черты нового в изображении человека и свойственная своему времени ограниченность.

¹ Доклад на совещании по древнерусской литературе в Ленинграде 26 апреля 1955 г.

* * *

Самое характерное и самое значительное явление в изображении человека в конце XIV—начале XV века — это своеобразный «абстрактный психологизм». Если в литературе XII—XIII веков, как мы уже видели в свое время,¹ изображались по преимуществу поступки людей и эти поступки характеризовались с точки зрения норм феодального поведения, то теперь в центре внимания писателей конца XIV—начала XV века оказались отдельные психологические состояния человека, его чувства, эмоциональные отклики на события внешнего мира. Но эти чувства, отдельные состояния человеческой души не объединяются еще в характеры. Проявления психологии не складываются в психологию. Связующее, объединяющее начало — характер человека — еще не открыто. Индивидуальность человека попрежнему ограничена прямолинейным отнесением ее в одну из двух категорий — добрых или злых, положительных или отрицательных. Психологические состояния как бы «освобождены» от характера. Они могут меняться с необычайной быстротой, достигать невероятных размеров. Человек может становиться из доброго злым, при этом происходит мгновенная смена душевных состояний.

Новое понимание человека стоит в непосредственной связи с влиянием церковной идеологии, особенно сильно сказавшимся во всех литературных жанрах именно этого периода.

Согласно ортодоксальным взглядам церкви этого времени человек обладает свободой воли, он обладает свободой выбора между добром и злом. Выбрав добро, он может последовательно идти по пути добра и достичь святости; выбрав зло — пойти по пути (тоже последовательно) зла. Каждый человек может решительно изменить свой путь. Правда, последовательный праведник, вкусив истины, грешником не становится, но грешник на любой ступени своего падения может покаяться и стать сразу же праведником. Примерами таких превращений полна церковная литература XIV—XV веков, — превращений полных, не знающих компромиссов. Раз всё зависит от решения человека выбрать добро или зло, — он до конца последователен в этом. Он либо до конца свят, либо до конца зол. В первом случае он свят до полной абстрактности, во втором — всегда может резко измениться, стать добрым. Вот почему в литературе этого времени нет характера. Характер — это нечто более или менее устойчивое в человеке; характер может развиваться, изменяться, но он не может «превращаться» только в зависимости от решения человека. «Превращения» же и чрезвычайная неустойчивость психологических состояний — характерная черта житийной литературы этого времени. Все психологические состояния, которыми так щедро наделяет человека житийная литература конца XIV—XV веков, — это только внешние наслоения на основной, несложной внутренней сущности человека — доброй или злой, определяемой решением самого человека встать на тот или иной путь. Все психологические состояния — это как бы одежда, которая может быть сброшена или принята на себя.

В житии Стефана Пермского все жители Перми ведут себя диаметрально противоположным образом до крещения их Стефаном Пермским и после него. Их психологические состояния и до и после крещения описаны резко различными чертами, они обуреваемы совершенно противо-

¹ См.: Д. С. Лихачев. Изображение людей в летописи XII—XIII вв. Труды ОДРА, X, стр. 7—43.

положными чувствами. При этом автора жития Стефана Пермского отнюдь не смущает то обстоятельство, что такая перемена произошла в целом народе и произошла без всяких промедлений. Прямолинейность характеристики объясняется здесь ее несложностью; все зависит здесь от одного акта крещения: до крещения Пермь описана целиком отрицательными чертами, после — целиком положительными. Загадочным с психологической (нашей) точки зрения остается только сам акт крещения: как решили они креститься. Заслуга здесь приписывается и Стефану Пермскому и самим жителям Пермской земли, но в конечном счете это несомненное «чудо». Вот почему чудо в житийной, христианской литературе — совершенно необходимая составная часть. Только оно вносит движение и развитие в биографию святого. Одна свобода выбора между добром и злом определить развитие личности еще не может.

Победа Стефана над язычниками — победа прежде всего психологическая. Злые и нетерпимые язычники обращаются в кротких и послушных последователей Стефана. Они «восхотели» креститься, «в сласть» послушали его проповедь, «с радостию» принимают его слова. Описание нового психологического состояния язычников и радости Стефана занимает несколько листов жития последнего.

Психологические «превращения» язычников потому и возможны, что у них нет никакой индивидуальной психологии, никаких постоянных качеств характера. Они потому злы, нетерпимы, потому так яростно нападают на Стефана, гонят его, питают к нему ненависть, что они язычники. Как только они крестятся, сердца их наполняются веселием, они с умилением слушают того же Стефана.

Перед нами проходит калейдоскоп различных психических состояний, различных душевных движений, страстей, чувств — всегда сильных до чрезмерности, никогда не останавливающихся на полпути, всегда доведенных до наиболее резкого выражения. И это возможно отчасти потому, что психология всех действующих лиц выражена очень неясно. Авторы описывают психические состояния, игнорируя психологию человека в целом, его характер. Чувства как бы живут вне людей, но зато проникают все их действия, смешиваются с чувствами автора, который постоянно стремится их выразить, придать эмоциональность своему повествованию.

* * *

Если в XII—XIII веках изображения людей статичны и монументальны, напоминая собой геральдические фигуры, взяты как бы в их «вечном» смысле, то в житийной литературе конца XIV—начала XV века всё движется, всё меняется, объято эмоциями, до предела обострено, полно экспрессии.

Авторы конца XIV—XV века как бы впервые заглянули во внутренний мир своих героев, и внутренний свет их эмоции как бы ослепил их, они не различают полутонов, не способны улавливать соотношение переживаний. Писатель впервые видит внутренний мир человека; но он видит его пока еще «младенческим глазом», для которого раскрыты краски, вся яркая пестрота огромного мира, но для которого эти краски еще не объединены в предметы, в объективно существующие реалии.

С увлечением неопитов писатели этого времени живописуют сложные переживания личности. Пораженные величием того, что они увидели, они пишут о своем бессилии выразить всю святость подвигов своего героя. Описать все величие деяний святого также невозможно, утверждает

Пахомий Серб, как нельзя измерить широту земли и глубину моря, сосчитать звезды на небесной высоте или исчерпать вечно текущий источник, непрерывно пополняемый из земли.¹ Писатель сравнивает себя с водолазом, ищущим жемчуг на дне морском.²

Тема неизреченности, невыразимости божественной премудрости — обычная тема в устах писателей конца XIV—начала XV века. «Временное» и конкретное слово бессильно выразить «вечные» и абстрактные истины, вскрыть непреходящий смысл событий. Писатели жалуются на свою грубость, «худость», невозможность достойно похвалить святого. Епифаний пишет, обращаясь к Стефану: «... тем же похвалити тя гряду, но не умею, елика бо изрицаю, и та суть словеса скудна, худа бо, по истине худа и грубости полна; но обаче прими сиа, отче честнейший, яко отец немованиа от уст детищу немующу» и т. д.³

Авторы как бы не могут удержаться от выражения нахлынувших на них чувств. Описав погребение Дмитрия Донского, составитель «Слова о житии и о преставлении великого князя Дмитрия Ивановича, царя русского» патетически восклицает: «О страшно чудо, братие, и дива исполнено! О трепетное видение и ужас обдержаше! Слыши, небо, и внуши земле! Како въспишу или како възглаголю о преставлении сего великаго князя? От горести душа язык связается, уста загражаются, гортань премолкаеть, смысл изменяется, зрак опусневается, крепость изнемогаеть».⁴

Бессильный выразить свои возвышенные представления, автор стремится передать лишь свое отношение к ним, охарактеризовать их, свои чувства, возбужденные жизнью святого, извлекает из них нравоучительный смысл, учит и проповедует больше, чем передает факты. Факты в житии Стефана Пермского могли бы уместиться на одной пятидесятой произведения — все остальное, т. е. остальные сорок девять частей, посвящены взволнованным размышлениям о жизни святого.

С начала и до конца произведения автор пишет в повышенно-эмоциональном тоне, он находится в восторге и напряжении, повествует на самых высоких нотах, и это создает ту эмоциональную атмосферу, которая нужна ему для культивирования христианских чувств, умиления перед христианскими ценностями...

Авторы стремятся писать «невидимо на разумных скрыжалех, сердечных», а не на «чувственных хартиах».⁵

Невыразимость чувств, невыразимость высоты подвигов святого органически связаны со всей стилистикой житийных произведений — с их нагромождением синонимов, тавтологических и плеонастических сочетаний, неологизмов, эпитетов, с их ритмической организацией речи, создающей впечатление бесконечности чувств. Все это призвано внушить читателю грандиозность и значительность происходящего, создать впечатление его непередаваемости человеческим словом. Конкретные значения стираются в этих сочетаниях и нагромождениях слов, и на первый план выступает экспрессия и динамика. Слово становится неконкретно, «невесомо».

До крайней степени экспрессии доводятся не только психологические состояния, но и поступки, действия, события, окружающиеся эмоциональ-

¹ В. Яблонский. Пахомий Серб и его агиографические писания. СПб., 1908, стр. 232.

² Пахомий Серб в похвале Варлааму Хутынскому (В. Яблонский, ук. соч., стр. 253).

³ Житие св. Стефана, епископа Пермского, написанное Епифанием Премудрым. СПб., 1897, стр. 102. Примеры аналогичных высказываний у Пахомия Серба см. в указанной работе В. Яблонского (стр. 232).

⁴ ПСРЛ, VI, стр. 109.

⁵ Житие св. Стефана... стр. 1.

ной атмосферой. Стефан Пермский сокрушает идолов, не имеет «страхования», он сокрушает их «без боязни и без ужаси», день и ночь, в лесах и в полях, без народа и перед народом. Он бьет идолов обухом в лоб, сокрушает их по ногам, сечет секирою, рассекает на члены, раздробляет на поленья, крошит на «иверение», искореняет их до конца, сжигает огнем, испепеляет пламенем...¹

Повышенная эмоциональность отличает и поступки толпы язычников. Пермь нападает на Стефана «с яростию, и с гневом, и с воплем, яко убити и погубити хотяще, ополчишася на нь единодушно, и акы ликы ставше окрест его, напязаа на прягоша лукы своя, и зело натянуше я на него, купно стрелам смертоносным сущим о луцех их, и прямолучными стрелами своими состреляти его жадаху, и тако прочее смерти его предати хотяху».² Все чувства обладают невероятной силой. Любовь к Кириллу Белозерскому влекла к нему Пахомия Серба подобно железной цепи,³ дружба Сергия Радонежского и Стефана Пермского связывает их с такою силою, что они чувствуют приближение друг к другу на далеком расстоянии.⁴

* * *

Церковная богословская литература, оригинальная и переводная, дает некоторые пояснения к тем явлениям, которые мы отметили для литературы художественной. В сочинениях Григория Синаита и Григория Паламы развивалась сложная система восхождения духа к божеству, учение о самонаблюдении, имеющем целью нравственное улучшение, раскрывалась целая лестница добродетелей. Углубляясь в себя, человек должен был победить свои страсти и отрешиться от всего земного. В результате — экстатическое состояние созерцания, безмолвие, с которым естественно связывалось и учение о бессилии человеческого языка. В богословской литературе встречались сложные психологические наблюдения, посвященные разбору таких явлений, как восприятие, внимание, разум, чувство и т. д. Богословские трактаты различали три вида внимания, три вида разума, учили о различных видах человеческих чувств, обсуждали вопросы свободы воли и давали довольно тонкий самоанализ.

Существенно, что эти трактаты не рассматривают человеческую психологию как целое, не знают понятие характера. Они пишут об отдельных психологических состояниях, чувствах и страстях, но не об их носителях. Чувства, страсти живут как бы самостоятельной жизнью, способны к саморазвитию. Несколько позднее Нил Сорский на основании сочинений отцов церкви (Иоанна Лествичника, Филофея Синаита и др.) различал пять периодов развития страсти: «прилог», «сочетание», «сложение», «пленение» и собственно «страсть».⁵ Он дал каждому из этих периодов подробную характеристику, основанную в значительной мере на конкретном материале. Таким образом, чувства человека рассматривались у Нила Сорского независимо от самого человека. Страсти обладали у него способностью к саморазвитию. Это всё та же психология без психологии, изучение психологических состояний не как части единого целого, а как чего-то постороннего человеку. Не случайно страсти, «лукавые помыслы», персо-

¹ Житие св. Стефана..., стр. 37.

² Там же, стр. 25.

³ В. Яблонский, ук. соч., стр. 251.

⁴ Житие преп. Сергия Чудотворца. Сообщил архим. Леонид. СПб., 1885, стр. 115—116.

⁵ М. С. Боровкова-Майкова. Нила Сорского предание и устав. СПб., 1912, стр. 16 и сл.

нифицируются, сравниваются в литературе XV века со зверями: «лютый зверь вражда», «сердцеснедивый медведь» и т. д. Сердце злого человека — это звериное логово, «гнездо злобы». Ясно, «душа» человека в этот период — это не та душа, которая существовала в представлениях русских людей XI—XII веков, когда она отождествлялась с дыханием и считалась отлетевшей от человека в каждом его обморочном состоянии.¹

* * *

Поступки, действия человека продолжают, как и раньше, в XII—XIII веках, играть важную роль в характеристике человека, в строении его образа. Однако в отличие от летописных изображений людей в житийной литературе изучаемого периода первостепенное значение приобретает даже не сам поступок, подвиг, а то отношение к подвигу, которое выражает автор, эмоциональная характеристика подвига, всегда повышенная, как бы преувеличенная и вместе с тем абстрактная. Преувеличиваются самые факты, зло и добро абсолютизированы, никогда не выступают в каких-либо частичных проявлениях. Только две краски на палитре автора — черная и белая. Отсюда пристрастие авторов к различным преувеличениям, к экспрессивным эпитетам, к психологической характеристике фактов. Весть о смерти Стефана «страшная», «пристранная», «пламенная», «горькая» и т. д.²

Если автор употребляет сравнение, — он не заботится о том, чтобы оно могло быть конкретно, зрительно воспринято. Для него важен внутренний смысл событий, а не его внешнее сходство: «по истине бо тех суть красны ноги, благовествующих мир»,³ говорит автор, не задумываясь над тем, как воспримут его читатели образ «красивых ног» тех проповедников, которые «благовествуют мир». «Красивые ноги» — это только абстрактная идея, но не конкретный образ. Даже постройка церкви — дело конкретное и «материальное» — превращается в психологический акт. Епифаний говорит о пермской церкви Стефана: «юже въздвиже чистою совестью, юже създа горящим желанием».⁴ Стефан, следовательно, строит церковь не руками строителей, а «чистою совестью» и «горящим желанием». Ноги и руки, следовательно, становятся в первом случае абстрактными символами, во втором же реальное строительство совершается без помощи рук — «горящим желанием» и «чистою совестью». Одним из средств этого абстрагирования поступков служит сравнение их с событиями «священной истории». Епифаний Премудрый сопоставляет проповедь христианства Стефаном Пермским среди Перми с проповедью Петра, Иоанна Богослова, Матвея, Филиппа, Фомы, Иуды, Симона Зилота Кананитянина, Варфоломея, Андрея, Павла. Одно только перечисление стран, где было проповедано ими «слово божие», занимает 3—4 страницы рукописи. Благодаря этому проповедь Стефана оказывается в ряду событий всемирной истории, имеющих первостепенное значение, но благодаря этому же она переносится в какую-то абстрактную область общих судеб человечества и всякая конкретность, сообщение реальных деталей оказываются почти исключенными.

Изобретение пермской грамоты Стефаном обставлено учеными справками относительно изобретателей других грамот. Здесь и в аналогичных

¹ См. в повести об ослеплении Василька Теребовльского: «и испи воды, и вступи во нь душа, и упомянуса» («Повесть временных лет», т. 1. М.—Л., 1950, стр. 173).

² Житие св. Стефана. ..., стр. 91.

³ Там же, стр. 18.

⁴ Там же, стр. 22.

случаях писатель становится ученым, начетчиком, богословом — «премудрым».

Уподобление героя тому или иному лицу в священном писании делается для автора своеобразной проблемой, когда ему нужно подобрать точную параллель. Автор колеблется, сомневается и перечисляет всех праведников, начиная от Адама: «Ангела ты нареку? — спрашивает автор «Слова о житии и о преставлении великого князя Дмитрия Ивановича», — но во плоти сущи ангелскы пожил еси. Человека ли? но выше человеческого существа дело свершил еси. Первозданнаго ли (т. е. Адама, — Д. Л.) ты нареку? но той приим заповедь Съдетеля и преступи... Сифа ли ты нареку? но того премудрости ради людие богом нарицаху». «Еноху ли ты подоблю?», «Ноя ли ты именую?», «Авраама ли ты нареку?», «Исаака ли ты възхваляю?», «Израиля ли ты възглаголю?», «Иосифа ли ты явлю?» и «Моисея ли ты именую?»,¹ — автор последовательно отвергает каждое из этих уподоблений, так как находит различия в их подвигах. Поступок, действие, деятельность и здесь служат единственным основанием для сопоставлений. Все сравнения человека с теми или иными животными, птицами, предметами идут по линии сравнения его деяний. Внешнее сходство не интересует автора, интересует сходство действий, смысла этих действий. Зрительный, конкретный образ человека просто отсутствует.

Волхв, освободившийся от державших его людей, сравнивается Епифанием Премудрым с оленем: «он же искочи от них яко елень».² Ясно, что образ оленя применен не к самому волхву, но к его действию — к его бегству. Его бегство было такое же быстрое, как и у оленя, — сходство только в этом. Дмитрий Донской — это: «высокопаривый орел...», «баня мыющимса от скверны, гумно чистоте, ветр плевелы развевая, одр трудившимса по бозе, труба спящим, воевода мирный, венець победе, плавающим пристанище (т. е. пристань, — Д. Л.), корабль богатству, оружие на врагы, мечь ярости, стена нерушима, зломыслящим сеть, степень непоколеблема, зеркало житию... высокий ум, смиренный смысл, ветром тишина, пучина разуму» (разрядка моя, — Д. Л.).³ Этот способ характеристики человека чрезвычайно далек нашему художественному сознанию; он целиком объясняется из художественного сознания своего времени: индивидуальность человека абстрактна и неясна, характер человека еще не различается, — поэтому сравнивается в человеке не сам человек, а лишь его дело, деяние, поступки, подвиги, — по ним он и судится.

Не случайно святой именуется «воином христовым», он «подвижник», главное в нем — его подвиги. Святой, как и воин, совершает подвиги, это и есть основное. Вот почему Стефан Пермский называется Епифанием Премудрым «мужественным храбром»,⁴ т. е. богатырем.

Отсюда то пристальное внимание, которое уделяют агнографы действиям, поступкам. При этом важно выявить значение действия, подчеркнуть его величие, то впечатление, которое они произвели в народе, а не описать его конкретно. Все детали опускаются как несущественные, а само действие оказывается преувеличенным, преувеличен и психологический эффект его. Детали сохраняются только те, которые способствуют этому эффекту. Отсюда обычные в литературе этого времени нагромождения всяческих ужасов, шумные тирады действующих лиц, различного рода

¹ ПСРЛ, VI, стр. 110.

² Житие св. Стефана... стр. 57.

³ ПСРЛ, VI, стр. 106.

⁴ Житие св. Стефана... стр. 109.

гиперболы. Говоря о том, как жители Перми, «яко зверие дивии», устремились на Стефана, Епифаний перечисляет их оружие, топоры и дреколье, отмечает, что топоры были «остры» и что этими острыми топорами толпа, обступив Стефана «отвсюду», хотела «ссещи его, кличюще вкупе и нелепаа глаголюще, и бесчинныя гласы испущающе на нь, и окруживше его сташа окрест его, и секырами своими възмахохуся на нь: и бяху видети его промежу ими, яко овца посреде волк».¹

Все строится на контрастах: яростная толпа противопоставляется кроткому Стефану, и чем яростнее толпа, тем более кротким кажется Стефан. Эффект действий увеличивается от того, что они совершаются перед народом, при зрителях. Волхв в житии Стефана Пермского отказывается войти в костер, испугавшись «шума огненнаго», перед всеми своими сородичами: «народу же предстоящу, человеком собранным, людем зрящим в очию леповидцем».² В житии Сергия Радонежского младенец Сергий вопит в утробе своей матери в церкви, во время литургии при многочисленном народе. Его голос слышен по всей церкви. В разыграншемся затем диалоге между матерью Сергия и молившимися в церкви женщинами обе стороны ведут себя с преувеличенной чувствительностью. Мать «мало не паде на землю от многа страха, и трепетом великим»³ была одержима, жены же — воздыхают, бьют себя в перси, плачут. Присутствующие мужчины стоят «безмолвиемъ ужасни».⁴

* * *

Экспрессивность действий подчеркивается длинными речами, которые произносят действующие лица. Эти речи должны изобразить отношение людей к событиям и, главное, их душевное состояние в связи с этими событиями. Они при этом отнюдь не индивидуальны, лишены характерности, изображают чувства абстрактно, с точки зрения автора, а не произносящего их лица. Вот как, например, говорит о своем нежелании войти в пламень вместе со Стефаном пермский волхв: «...немошно ми ити, не дерзаю прикоснутися огню, щажуся и блюду приблизитися множеству пламени горящу, и яко сено сый сухое, не смею воврещися, да не яко воск тает от лица огню, растаю, да не ополею яко воск и трава сухаа, и внезапу сгорю огнем и умру, и ктому не буду, и кая будеть полза в крови моей, егда сниду во исление, волшебство мое переиме[т] ин, и будет двор мой пуст, и в погосте моем не будет живущаго». Эту речь волхв произносит трижды, «пометая себя, биаше челом, и припадаа к ногам» Стефана, «обавляше вину сушу свою, и немощь свою излагаа, суетство же и прелесть свою обличаа».⁵

Прямая речь служит здесь для выражения душевного состояния действующего лица. Она насыщена в произведениях этого времени цитатами из псалмов, в ней произносятся слова молитв, но в ней нет «речевой характеристики» действующего лица. По стилю речь действующего лица не отличается от речи автора — она также абстрактна, книжна, учена, пользуется теми же приемами. Длиннейшие речи могут вкладываться в уста толпы, язычники могут употреблять фразеологию псалмов, эмоционально-хаотическая риторика находит здесь такое же применение, как и во всем произведении в целом.

¹ Житие св. Стефана... стр. 27.

² Там же, стр. 37.

³ Житие преп. Сергия Чудотворца, стр. 11.

⁴ Там же, стр. 12.

⁵ Житие св. Стефана... стр. 37.

* * *

Новое в изображении человека может быть отмечено не только в житиях святых. Жанр житий — только наиболее характерен для этого времени. Новый стиль отчетливо сказывается в Хронографе.

Вся мировая история в изложении Хронографа — цепь правоучительных историй, изображающих невероятные подвиги благочестия, а чаще — неслыханные злодеяния.

Исторические личности рисуются с необычайной силой экспрессии. Либо это злодеи, действующие по наущению дьявола, либо герои-добродетели. Действующие лица Хронографа мечутся, обуреваемые страстями, или совершают подвиги благочестия, подвигнутые на то ревностью к добру. Отсюда, так же как и в житиях, необычайная экспрессивность характеристик, отсюда гиперболы, стремление к грандиозности изображения, проникающее всё изложение и подавляющее читателя. Люди проливают «тучи слез», плачут по восьми месяцев. Одержимые страстями, они бессильны совладать с ними. Однако человеческого характера в Хронографе нет, как и в житиях.

Новый стиль через Хронограф проникает в летописание и исторические повести.¹ Черты нового стиля могут быть отмечены в «Задонщине», живописующей события Куликовской битвы «буйными словесы». Сравнительно со «Словом о полку Игореве» «Задонщина» гораздо более абстрагирует и «психологизирует» действие, многие из речей, произносимые действующими лицами, носят условный характер, это не реально произнесенные речи, как в «Слове о полку Игореве». Усилена экспрессивность изложения. Такой экспрессивный характер носит сцена бегства «поганых», которые бегут, «скрегчюще зубы своими, деруци лица своя», и одновременно произносят длинные речи.

Новому стилю подчиняются отдельные элементы «Позести о разорении Рязани Батыем», подвергшейся, очевидно, переработке в конце XIV века.

Кое-что из этих литературных явлений находит себе аналогию в изобразительном искусстве конца XIV—XV века: динамизм, экспрессивность, повышенный психологизм, — хотя в целом изобразительное искусство этого времени (фрески, иконы) гораздо более связаны с действительностью, конкретнее воспроизводят душевные движения, резче отражают индивидуальности людей, чем литература. Творчество Андрея Рублева, фрески и иконы XIV—XV веков именно поэтому гораздо значительнее, чем произведения русской литературы того же времени.

* * *

Чем объяснить изменения в художественных методах изображения человека в конце XIV—начале XV века?

Изменения в надстройке не могут быть объяснены по частям, когда эти части рассматриваются изолированно друг от друга. Структура человеческого образа в произведениях конца XIV—начала XV века находится в неразрывном единстве со всем стилистическим строем русской литературы этого времени, с ее содержанием, с философско-религиозной мыслью

¹ См.: Д. Лихачев. Русские летописи. М.—Л., 1947, стр. 346 и сл.

своего времени, с теми изменениями, которые претерпевало в это время изобразительное искусство. Должно быть учтено также культурное общение Руси этого времени с южнославянскими странами и Византией. Проблема очень широка и может быть решена только в совокупности всех своих сторон.

На одном наблюдении мне всё же хотелось бы остановиться.

Структура человеческого образа в XII—XIII веках была теснейшим образом связана с иерархическим устройством класса феодалов. Люди расценивались по их положению на лестнице отношений внутри феодального класса. Каждый из изображаемых людей был прежде всего представителем социального положения, своего места в феодальном обществе.¹ Его поступки рассматривались прежде всего с этой точки зрения.

Новая структура человеческого образа в известной мере демонстрирует идейный кризис феодальной иерархии, характерный для конца XIV—XV века. Самостоятельность и устойчивость каждой из ступеней иерархии были поколеблены. Центроостремительные силы начинали действовать все сильнее, развивалось условное держание земель, на сцену выступали представители будущего дворянства. Всё это если и не вызвало, то во всяком случае облегчило появление новых художественных методов в изображении человека, по самому существу своему никак не связанного уже теперь с иерархией феодалов. Государству нужны были люди, до конца преданные ему, — личные качества их выступали на первый план. На первый план выступали такие качества, как преданность, ревность к делу, убежденность.

Вместе с тем союз государства и церкви способствовал оцерковлению литературы.

* * *

Что же было исторически прогрессивного в развитии художественного метода изображения человека в конце XIV—XV века?

Изображение человека не отделимо от всего стиля житийной литературы конца XIV—XV века. Литературное движение этого времени рассматривалось обычно в литературоведении только с его внешней стороны. Оно определялось как «риторико-панегирическое», сводилось лишь к «украшенности и пышности» стиля. Даже рассматриваемое в этом узком плане литературное движение вело к обогащению лексики (к развитию синонимии, созданию новых слов с отвлеченными значениями и т. д.), к усложнению синтаксиса и т. д. Однако явления художественной формы этого времени гораздо шире. Они, в частности, касаются, как это мы видели, и внутренней структуры образа человека. В области изображения людей новым и прогрессивным явилось первое проникновение во внутреннюю жизнь человека, пристальное внимание к различного рода душевным движениям, открывавшее собой возможность накопления уже конкретных наблюдений над психологией человека.

Абстрактность в изображении человека была непоследовательной. Она никогда не могла быть полной и должна была хотя бы частично прибегать к фактам, но если в летописных изображениях XII—XIII веков абстрактность опиралась на факты внешнего положения человека в иерархии феодального общества, то в житийной литературе XIV—XV веков

¹ См. подробнее: Д. Лихачев. Изображение людей в летописи XII—XIII вв., стр. 8.

она избирает новую точку опоры — в душевных движениях, при этом превеличенных до возможных пределов. И эта перемена конкретной «базы» абстракции уже сама по себе вела к обогащению литературы новым опытом и к постепенному разрушению самой абстрактности. Приоткрылась завеса над внутренней жизнью человека, пока еще не воспринимавшейся как целое, как характер, и не отделенной от моральных оценок, выдержанной в одной тональности.

Создавалось патетическое искусство, явившееся одной из ступеней постепенного движения литературы к реалистическому изображению действительности.